

РИЧАРД УИЛБЕР

Из старых и новых стихов

*С английского **

Из книги «Земное» (1956)

Перевод Иосифа Бродского

После последних известий

После последних известий темно
В окнах, и город без лишних слов,
Ныряя в подушки, идет на дно
В Атлантиду, полную частных снов.

Поднимается ветер и гонит вдоль
Обнаженных аллей и безлюдных троп
Ежедневную жвачку. Печатный вздор
Распинает себя на оградах, чтоб

Тотчас воскреснуть. Мятежный сонм
Мечется в парке, заносит пруд,
Злые крылья по честным устам
Хлещут немой монумент, скребут

Благородное имя. На пустырях
Смятость, скрученность в жгут, рвань
Наших газет представляет крах
Всего, что мы думаем, чье вранье

Мы поглотили. Пускаясь в пляс,
К пяткам патрульных вся эта мразь
Липнет. Так снег кулаками тряс
Бронзе копыт, превращаясь в грязь,

В злобе бессильной металл кляня.
Когда ж, очнувшись от забытья,
Вспорет морозную пленку дня
Голос диктора, ты и я —

* РИЧАРД УИЛБЕР — Из старых и новых стихов (*Перевод с английского Иосифа Бродского, Андрея Сергеева. Послесловие Ричарда Уилбера*) // *Иностранная литература*, 1990, № 10, 49–57.

Некоммерческое электронное издание. «Im Werden Verlag», 2007.
<http://imwerden.de>

Мы к жизни вернемся сквозь пасть метро
От смуты сердечной и дел пустых
С газетой, вышедшей поутру,
В парк, где похожие на святых

Люди с мешками, склонившись ниц,
Вонзают копы в отживший сор,
И шум их шагов превращает птиц,
На ветках общественных спящих, в хор.

Черный индюк

Отряд из девяти цыплят —
Все молоды, белы, как на подбор —
Бредет через засыпанный мякиной
И стружкой двор,

И поднятая ими пыль,
Поскольку полдень солнечен и сух,
Расцветивает всей палитрой спектра
Их нежный дух.

Не ярок и не тускл,
Во двор индюк вступает в этот миг,
Таинственный, величественный, словно
Туз пик.

Сам собственный кортеж,
Чтоб не застала смерть его врасплох,
Он репетирует дрожащим зобом
Последний вздох.

Сопровождая плеск
Хвоста и старых перьев взмах
Тем хладным шумом, с коим ветер гонит
Бумажный прах,

Над кривизною ног
Огромный, черный движется живот,
Как туча над кустом, как бриг поверх
Мятежных вод.

Костистая глава
На шее, отдающей синевой,
Как маска, снятая с лица святого, тусклый
И суетности чуждый свой

Взор устремляет на
Весь этот кукарекающий сброд,
Чьи вопли, день за днем, с вульгарным пылом
Творят восход.

Животные

Животные, благодаря своей
Свободе, ночью мирно дремлют. Чайке
На камне грезится гладь моря в лунном свете,
И рыба лунная лицом на камне спит,
Внимая водяную песню,

Чьей музыке созвучен всплеск
Не оставляющих следов копыт оленьих,
Писк мыши вспоротой в когтях совы, парящей
Над лунной гладью. Ибо нет здесь той
Кромешной темноты и боли,

Чьи маски эта самая луна,
Дробясь в окошках, зрит, усугубляя
Терзанья оборотня, впившегося в мокрый
Диванный валик, дабы вспомнить, что
Он чувствовал в мужском обличье.

Но вспоминанье переходит в сон;
И, ткнувшись в жесткий для лица, но мягкий
Для морды мех, он острым слухом внемлет
Стенанье ветра, панику листвы,
Гул затихающего водопада.

В плену стекла тем временем, вдали
От логов, падей, чаш, жрецы искусства
Томятся бдением. Но, воссоздать пытаюсь
Красу небес щемящую, лучи
Луны, таящегося зверолова,

Ужасные они лелеют для
Сердец виденья, воронье сажая
На темя статуям, вводя в дома чудовищ
И рыбам скармливая целые флоты
В глухих пучинах.

Голос из-под стола

Роберту и Джейн Брукс

Как жен познать, как поглощать вино?
Наш мир неплох; но я взалкал, узрев
Графином солнце как поглощено,
Познать иной, чья норма — перегрев.
Мой тост искрист за птиц в огне древес,
Столь искренне поющих, что пьяны;
Весь фосфор моря выхлебав, я весь
На дно печали свергнут с вышины.

Ты не забыл, прямоходящий люд,
Когда любовь гнала нас из лесов,
Как ветер взывал *О вы!* от скорби лют,
И подкосил мне ноги этот зов.
И в жажде сей преодолеть испуг
Я окунулся в речевой родник.
Но и святых прикосновенья рук
К моей спине усугубляли крик.

Затем богиня и решилась всплыть
И над волной бутылочной восстать,
Чтоб вкусом тайны жажду утолить
И к Югу жар любви адресовать.
И зрел я деву подле этих вод,
Чья кожа словно влажный сердолик,
И моря зеленеющий живот,
Приблизясь к ней, воспламенялся вмиг.

«В прозрачных пальцах миртовый листок
И зыбкой тенью волосы до плеч...»
Не создан ли был вызвавший восторг
Тот свет из тьмы, нас жаждущей облечь?
Не бормотал ли Архилох¹ спяна?
Не жажда ли возвысила слова?
Все это так; но ясно, что она
Была прекрасна, а теперь мертва.

Елена столь абстрактной не была,
О чем скрипят в симпозиумах, но
Из тех она беглянок, чьи тела
Пленить мужским орудьем не дано.
Кусай же ногти, Трою ли круши,
Но жажда вечно превышает дно.
А что до краха чувств или души,
Они, по мысли дьявола, одно.

¹ Архилох (вторая половина VII в. до н. э.) — древнегреческий лирический поэт. (Здесь и далее прим. ред.)

Оставь же дурнем, Господи. В дыму,
Средь грязных луж. Смиренью не учи.
Я — мученик, терпенью Твоему
Горизонтальный памятник в ночи.

Полупомеркший возвышая взгляд
И пол залитый пальцами скребя,
Я ляжек подавальщиц зрю парад,
О мир тщеты, — я возвращусь в тебя.

Барочный фонтан в стене на вилле Шарра

Из-под бронзы венца,
Столь громоздкой для мраморных мелких кудрей
Херувима, чьи пятки прожорливый змей
Поглощает, струя, щебеча и залив до конца

Чашу первую, из
Этой чаши стремится в другую, но, бросив пустой,
Низвергается вниз
Шумной прядью в массивную третью; из той,

Перепрыгнувши чрез
Край зубчатый, дробится на нити, и вот, невесом,
Плещет летний навес
Над семейкою фавнов и их одиноким гусем.

И счастливый, о да,
В этом щебете, блеске и пляске воды,
Как герой чехарды,
Козлоногий божок без труда

Подпирает собой
Пирамиду из раковин, слушая визг
Увлеченных борьбой
Своих отпрысков в отблесках брызг.

А фавнесса его,
Теплой плотью мерца и впад в забытье,
Созерцает бегущего кружева бликов почти волшебство,
И улыбка ее

Преломляется на
Дне песчаном, где сеть из рябящих теней сплетена,
Что хмельнее вина
Для сетчатки зрачка, а для мысли она

Бесконечней нулей,
Наслажденья являющих сумму. Но раз
Этот пир пузырей
Лишь одно наслажденье, не лучше ли нас

Воплощает иной
Заурядный фонтан, что Мадерны² воздвигла рука
У Святого Петра — ибо там главный столб водяной
Рвется к небу, пока,

Успокоенный фактом движения ввысь,
Сам не склонит чело.
Это — тяжесть, рожденная, чтоб вознестись
К небесам, где светло

Преломиться, слепя
Глаз, и вниз шелковистой скользнуть бахромой,
Продолжая себя
И в камнях аплодируя щедро себе же самой.

Если в этой черте,
Если в этих святых водяных наша цель и итог,
Образец *areté*³,
Что тогда эти мокрые фавны и весь их чертог?

То — сама полнота,
Непрерывность желанья того, что дано.
Не томит их жара, ни назойливых струй суета,
Ни морщинами — дно.

Нашей скуки отврат
Ненасытностью к жизни в бессменном кругу
Порицают они. Так Франциск⁴, у пресыщенных врат
Замерзая в снегу

И хваля вместе с тем
Небеса, в этом был бы увидеть готов
Не безделье, но тень
Благодати — ту землю терпимых цветов,

Обетованный край.
Где глаза стоят солнца и пальцы — воды,
Куда сердце стремится и где невзначай
Оставляет следы.

² Карло Мадерна (1556—1629) — итальянский архитектор.

³ Греческое слово, обозначающее добродетель, доблесть.

⁴ Св. Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226). Легенды о нем собраны в анонимном сборнике «Цветочки Св. Франциска Ассизского».

Из «Новых стихотворений» (1987)

Перевод Андрея Сергеева

Скачка

Конь мой, казалось мне,
Сам различает путь
Сквозь бешенство снега во сне;
Всю ледящую жуть

От меня отстраняли сполна
Ритм усердных подков,
Дыхания пелена
И пар от жарких боков.

Целую ночь в темноте
Не пригождалась узда
Скакавшему по пустоте
В крошащееся никуда.

Я летел легчайшей рысцой,
Словно вело волшебство,
И видел перед собой
Лишь острую гриву его.

И вдруг распахнулся простор,
Потянуло еловым дымком.
Блеснул постоялый двор
Заиндевелым окном —

И я проснулся. О как
На миг себя победить,
Вернуться в мороз и мрак
И конюха разбудить,

— И пока я вдомяк не возьму,
Что конь мой из сна возник, —
Дать вволю сена ему,
Воды и ввести в денник.

Вылавливаю из голубизны

Как прыткие стрижи, как методично
Вспухающая эмбрионом тучка,
Так и пронзительная эта рыба,
Чья красота и сила привлекли нас, —
Всё к осознанию сущности людской.

Оставим в стороне бездумность рыбы,
Полеты над водой и отклоненья
На нерестилища за сотни миль, —
Под лязг машин отдавшись созерцанию,
Мы в толще водной создаем картину:

В голубизне воды — голубизна,
Иначе говоря, цвет размышлений,
В мерцающих течениях — невесомость,
Предел вниманья на краю броска,
Сосредоточенность и хладнокровье,

А может, так примыслил голубой
Глаз разуменья нашего, — а рыба
Рванулась и впилась и рвет добычу
И вместе с ней воображенье наше,
Отброшенное к водорослям дна,

В кромешный древний сон палеозоя,
Где еле брезжат проблески сознанья
В борьбе без особей, без ощущений,
Без жалости, без отдыха, — из коей
Непредставимо вышли мы с тобой.

Под кроной

Сатира устрашась, лесная дева
Пускала корни, превращалась в древо,

Прекрасное как древо, но, к несчастью,
Ужасное, как образ сладострастья,

Которое, по нашему суждению, —
Плетенье и сплетенье солнца с тенью,

Причем листва в привольном беспорядке
В себя, искрясь, вбирает ветра прядки

И отдается радостно и живо
Во власть отдавшегося ей порыва.

Закон

Что таинство священния еля
Всегда свершается в Страстной четверг
Самим епископом — таков закон.
Ты этим возмущен? Ну что ж, ты волен
Засесть под смертоносной манцинеллой⁵,
С которой каплет яд, и уповать,
Что вроде бы избегнул благодати.
Решил — и делай, так или иначе.

Конченный человек

Из четверых, его столкнувших в море,
Троих уж нет, и в их загробном взоре
Он до сих пор ныряет и глотает.
Лицо четвертого с годами тает.

И надо полагать, давно на свете
Не стало дамы — той, что на банкете
Усмешку стерла быстрою рукою,
Когда он ляпнул черт-те что такое.

Позор бы вышел перед всей конторой,
Да промолчал покойный клерк, который,
Смущаясь, уличил его в обмане.
Свидетельства все зыбче и туманней.

И вот, благообразный, богомольный,
Он открывает комплекс баскетбольный,
Где колледж письменами золотыми
Над раздевалкой вывел его имя.

Когда б воспоминанья не карали,
А мертвецы и вправду умирали,
И деньги не были безгласным тленом,
Он сам себя считал бы джентльменом.

⁵ Манцинелла — тропическое дерево, растет в Америке, сок его ядовит.
(Прим. перев.)

Памяти У. Х. Одена

Теперь я лучше знаю, куда они —
Железнодорожник, трясущийся в товарняке;
Красотки, машущие руками с борта,
Когда корма уже взрыла и скомкала воду;

Школьницы в форме, которых монахиня
Ведет сквозь вокзальный гул; ученый, ушедший
С головою в раздумья на лесенке у стеллажа;
Индейцы, уснувшие по двое под одеялом;

И арестованный немцами, вздрогнувший
На выхлоп, когда грузовик тронулся с места, —
Про них, увиденных и отмеченных памятью,
Теперь я знаю, что все они двигались к смерти,

Ибо ты, во время разрухи сберегший
Дар цивилизованной речи, поэт городов,
Как бы ни был отличен от нас, ты тихонечко вышел,
Как все, как всегда в ту же общую дверь.

О старых и новых переводах

Ричард Уилбер не нуждается в представлении русскому читателю. Переводы его стихотворений есть во всех антологиях американской поэзии, их дважды печатала «Иностранная литература» (1966, № 9; 1979, № 10).

Во время недавнего приезда поэта в нашу страну редакция попросила его написать несколько слов к новой публикации в журнале. Характерно, что Ричард Уилбер, отдавший много сил и времени поэтическому переводу, предложил нам заметки о своих русских переводчиках. Надеемся, что эти заметки будут любопытны нашему читателю, по-новому высветят и облик самого нашего автора — бесспорно, одного из крупнейших американских поэтов XX века.

Когда в 1961 году в редакции «Иностранной литературы» я познакомился с Андреем Сергеевым, меня поразило его глубинное знание американской литературы, самого ее языка. Ни разу не побывав в Соединенных Штатах, он был способен в разговоре обронить, что Роберт Фрост употребил слово «interval» на манер старого янки. Сергеев был не только прав, что Фрост лукаво поиграл этим словом, чтобы передать идеи как времени, так и пространства, — Сергеев сделал наблюдение, на которое были бы не способны многие современные урбанизованные жители Новой Англии. При новых встречах с Андреем Сергеевым в Америке и в России я еще больше уверился в его профессиональной высококлассности. Это переводчик, который после тщательной лингвистической подготовки погружается в переводимого автора и овладевает переводимым стихотворением, позволив этому стихотворению овладеть им, переводчиком. Насколько я понимаю рабочий метод Сергеева, этот метод требует не только точности, но и перевоплощения, вживания в образ — так, как делал Дюпен, великий сыщик из рассказов Эдгара По. Хотя я знаю по-русски всего несколько слов, я могу с уверенностью сказать, что, когда я слышу, как Сергеев читает свой перевод из Фроста или из меня, я понимаю, что это стихотворение обрело свой аутентичный русский голос.

Иосиф Бродский посетил нас с женой в Массачусетсе вскоре после приезда в Америку, и с тех пор я знаю его как прекрасного друга и сотоварища по поэтическим чтениям и дискуссиям о переводе. От разных людей я слышал, что Иосиф в свои ленинградские дни перевел несколько стихотворений из моей третьей книги и что это точные и блистательные переводы, которые не увидели свет только потому, что переводчик тогда находился на осадном положении ¹. И когда профессор Мичиганского университета Карл Проффер предложил мне перевести с его

¹ Переводы эти были подготовлены для «Иностранной литературы» в 1971 году. (Прим. ред.)

помощью, по подстрочнику «Похороны Бобо» Бродского, я из чувства благодарности старался выполнить поручение как можно лучше; старался я еще и потому, что знал, что Бродский, хорошо владеющий английским языком, чрезвычайно суров со своими переводчиками. После месячной работы над стихотворением я не без трепета подал перевод; меня особенно заботила одна фраза, которой не было в оригинале и которая вошла в перевод по требованиям контекста. К счастью, Иосиф одобрил мою работу, как позднее одобрил мой перевод стихотворения «Шесть лет спустя». Во втором переводе Бродский вместе с тринидадским поэтом Дерекотом Уолкоттом во время полета из Оклахомы в Нью-Йорк сделал несколько исправлений в третьей строфе. Я никоим образом не возражал, ибо исправления были явно на пользу, а кроме того, я разделяю уверенность Бродского, что главное в переводе — не «я» переводчика, а точность и убедительность, с какими воссоздается оригинал. По мнению некоторых американских поэтов-переводчиков, Бродский чересчур резко нападает на их переводы, не сохраняющие формальные структуры, например, переводы из Ахматовой — свободным стихом. Я полностью на стороне Бродского и полагаю, что он в интересах искусства всего лишь требует от других той же строгости и упорства, какие всегда требует от себя. Я счастлив, что его старые переводы моих стихов будут наконец опубликованы. Мне хотелось бы лучше знать русский язык, чтобы прочесть себя самого в наилучшем виде.

РИЧАРД УИЛБЕР

Об авторах

РИЧАРД УИЛБЕР (RICHARD WILBUR; род. в 1921 г.) — американский поэт, лауреат многих литературных премий, член Американской академии и Национального института искусств и литературы. Участник второй мировой войны. Преподавал в Гарвардском, Везлианском и др. университетах. Автор восьми сборников стихов, переводчик французской и в последнее время русской поэзии (стихотворных пьес Расина и Мольера; стихов Вийона, Лафонтена, Ахматовой, Бродского, Вознесенского и др.). В русском переводе стихи Р. Уилбера печатались в «ИЛ» (1966, № 9; 1979, № 10), в антологиях американской поэзии.

Публикуемые стихи взяты из книг: «Земное» (*“Things of this World”*. New York, Harcourt, Brace and Company, 1956; Пулицеровская и Государственная премии), «Собрание стихотворений и новые стихи» (*“New & Collected Poems”*. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1988).